

Тургенев
на лавочке
Кассиона

Библиотечка Школьника



И. С. ТУРГЕНЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ
В ПРОЗЕ

5372

ДЕТГИЗ

1848

1848

RECEIVED

LIBRARY

OF THE

19

Б И Б Л И О Т Е Ч К А Ш К О Л Ь Н И К А

И. С. ТУРГЕНЕВ



**СТИХОТВОРЕНИЯ
В ПРОЗЕ**

Л 35372.



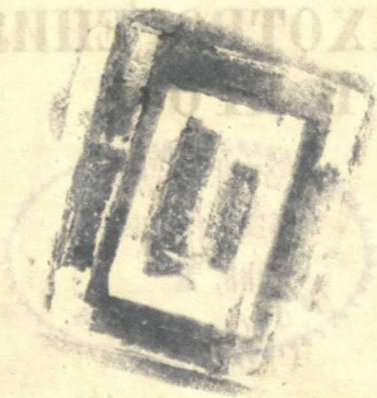
НАРКОМПРОС РСФСР
Государственное Издательство Детской Литературы
1942

ВЪВЕДЕНІЕ ВЪ ПРАКТИКУ

М. С. ТИШИНЪ



ВНЕШНЯЯ ТОЧКА



ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

Съдѣніе въ Москвѣ, въ Типографіи Императорскаго Университета

1883



РУССКИЙ ЯЗЫК

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние, при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882.

ВОРОБЕЙ

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи — и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и

пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговей.

Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. — Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1878.

ЛАЗУРНОЕ ЦАРСТВО

О, лазурное царство! О, царство лазури света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне.

Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами.¹

Я не знал кто были мои товарищи, но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я!

Да я и не замечал их. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек — а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное море — и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце.

И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов!

А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... Казалось, самое небо звучало им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало... А там опять наступала блаженная тишина.

¹ Вымпел — длинный узкий флаг, поднимаемый у верха мачты. — *Ред.*

Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая.

Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные, длиннокрылые птицы.

Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки.

Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило о любви, о блаженной любви!

И та, которую каждый из нас любил — она была тут... невидимо и близко. Еще мгновение — и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку — и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай!

О, лазурное царство! я видел тебя... во сне.
Июнь, 1878.

ПОСЕЩЕНИЕ

Я сидел у раскрытого окна... утром, ранним утром первого мая.

Заря еще не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная, теплая ночь.

Туман не вставал, не бродил ветерок, всё было одноцветно и безмолвно... но чуялась близость пробуждения — и в поредевшем воздухе пахло жосткой сыростью росы.

Вдруг, в мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица.

Я вздрогнул, взгляделся... То была не птица, то была крылатая, маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, к низу волнистое платье.

Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной алостью распускающейся розы; венчик из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки, — и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым, выпуклым лобиком.

Она пронеслась раза два под потолком; ее крошечное лицо смеялось; смеялись также огромные, черные, светлые глаза.

Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи.

Она держала в руке длинный стебель

степного цветка: «царским жезлом» зовут его русские люди, — он и то похож на скипетр.

Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком.

Я рванулся к ней... Но она уже выпорхнула из окна — и умчалась.

В саду, в глуши сиреневых кустов, гор-linka встретила ее первым воркованьем — а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько покраснелось.

Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно — ты полетела к молодым поэтам.

О, поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною — ранним утром ранней весны!

Май, 1878.

ГОЛУБИ

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною — то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило — горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Всё притаилось... всё изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слышать, не видеть ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий, крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! — думалось мне, — сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот — по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел всё прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений — та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже два платка мелькают, два комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом два белых голубя.

И, вот, наконец, сорвалась буря — и пошла потеха!

Я едва домой добежал. — Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие,

словно в клочья разорванные облака, всё закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой...

Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя — и тот, кто слетал за товарищем — и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба, и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один как всегда.

Май, 1879.

БЕЗ ГНЕЗДА

Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда. Нахохлившись сидит она на голой, сухой ветке. Остаться тошно... а куда полететь?

И вот она расправляет свои крылья — и бросается в даль стремительно и прямо, как голубь вспугнутый ястребом. Не откроется ли где зеленый, уютный уголок, нельзя ли будет свить где-нибудь хоть временное гнездышко?

Птица летит, летит, и внимательно глядит вниз.

Под нею желтая пустыня, безмолвная, недвижная, мертвая...

Птица спешит, перелетает пустыню, и всё глядит вниз, внимательно и тоскливо.

Под нею море, желтое, мертвое как пустыня. Правда, оно шумит и движется, но в нескончаемом грохоте, в однообразном колебании его валов тоже нет жизни и тоже негде приютиться.

Устала бедная птица... Слабеет взмах ее крыльев; ныряет ее полет. Взвилась бы она к небу.., но не свить же гнезда в этой бездонной пустоте!

Она сложила наконец крылья.., и с протяжным стоном пала в море.

Волна ее поглотила.., и покатилась вперед, попрежнему бессмысленно шумя.

Куда же деться мне? И не пора ли и мне упасть в море?

Январь, 1878.

МОРСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я, да маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась, и пицала жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную, холодную ручку — и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. — Я брал ее руку — и она переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим; густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглюю. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотающими колесами; молочно белея и слабо шипя разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглюю.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.

Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

А капитан, молчаливый человек с загоре-

лым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

На все мои запросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику — обезьяне.

Я садился возле нее; она переставала питать — и опять протягивала мне руку.

Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга словно родные.

Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.

Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

Ноябрь, 1879.

«КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»¹

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

„Как хороши, как свежи были розы...“

¹ Это заглавие заимствовано Тургеневым из стихотворения „Розы“, написанного поэтом И. П. Мятлевым (1796 — 1844). — *Ред.*

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

„Как хороши, как свежи были розы...“

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; — а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, — но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

„Как хороши, как свежи были розы...“

А в комнате всё темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и

злится за стеною — и чудится скучный, старческий шопот...

„Как хороши, как свежи были розы...“

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной, деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, в перебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино — и Ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

„Как хороши, как свежи были розы...“

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жметя и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... и все они умерли... умерли...

„Как хороши, как свежи были розы...“

Сентябрь, 1879.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубашке... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли — кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съезженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него, — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный

покрыв облекает ее с ног до головы... Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее бледные, строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки. Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила...

Апрель, 1878.

ШИ

У бабы-вдовы умер ее единственный, двадцатилетний сын, первый на селе работник.

Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

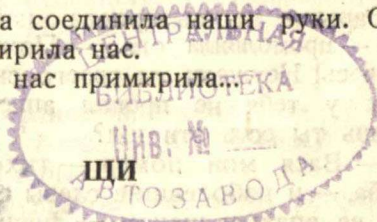
Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движением правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.

«Господи! — подумала барыня. — Она может есть в такую минуту... какие однако у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную

135372.



дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом — и прожила целое лето в городе! — А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец. — Татьяна! — промолвила она... — Помилуй! — Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? — Как можешь ты есть эти щи?

— Вася мой помер, — тихо проговорила баба, — и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же; ведь они посоленые.

Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

Май, 1878.

ПОРОГ

Сон

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос.

«О ты, что желаешь переступить этот порог — знаешь ли ты, что тебя ожидает?»

— Знаю, отвечает девушка.

«Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?»

— Знаю.

«Отчуждение полное, одиночество?»

— Знаю... — Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

«Не только от врагов — но и от родных, от друзей?»

— Да... и от них.

«Хорошо. Ты готова на жертву?»

— Да.

«На безымянную жертву? — Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!..»

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

«Готова ли ты на преступление?»

Девушка потупила голову... — И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

«Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?»

— Знаю и это. И всё-таки я хочу войти.

«Войди!»

Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.

«Дура!» — проскрежетал кто-то сзади.

«Святая!» — пронеслось откуда-то в ответ.

Май, 1878.

ПРОКЛЯТИЕ

Я читал байроновского Манфреда.. Когда я дошел до того места, где дух женщины, погубленной Манфредом, произносит над ним свое таинственное заклинание, я ощутил некоторый трепет.

Помните: «Да будут без сна твои ночи, да вечно ощущает твоя злая душа мое незримое неотвязное присутствие, да станет она своим собственным адом».

Но тут мне вспомнилось иное... Однажды, в России, я был свидетелем ожесточенной распри между двумя крестьянами, отцом и сыном.

Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление.

— Прокляни его, Васильич, прокляни его окаянного! — закричала жена старика.

— Изволь, Петровна, — отвечал старик глухим голосом, и широко перекрестился: — Пускай же и он дождетя сына, который на

глазах своей матери плюнет отцу в его седую бороду!

Это проклятие показалось мне ужаснее Манфредовского.

Сын раскрыл было рот, да пошатнулся на ногах, позеленел в лице, и вышел вон.

Февраль, 1878.

ДВА БОГАЧА

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить...

— А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июнь, 1878.

ВРАГ И ДРУГ

Осужденный на вечное заточенье узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать... За ним по пятам мчалась погоня.

Он бежал изо всех сил... Преследователи начинали отставать.

Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая — но глубокая река... А он не умеет плавать!

С одного берега на другой перекинута тонкая, гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу... Но случилось так, что тут же возле реки стояли: лучший его друг и самый жестокий его враг.

Враг ничего не сказал и только скрестил руки; за то друг закричал во всё горло: — «Помилуй! Что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? — Она сломится под твоей тяжестью — и ты неизбежно погибнешь!»

— Но ведь другой переправы нет... а погоню слышишь? — отчаянно простонал несчастный и ступил на доску.

— Не допущу!.. Нет, не допущу, чтобы ты погибнул! — возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. — Тот мгновенно бухнул в бурные волны — и утонул.

Враг засмеялся самодовольно — и пошел прочь; а друг присел на бережку — и начал

горько плакать о своем бедном... бедном друге!

Обвинять самого себя в его гибели он однако не подумал... ни на миг.

— Не послушался меня! Не послушался! — шептал он уныло.

— А впрочем! — промолвил он наконец. — Ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме! По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! Знать, уж такая ему выпала доля!

«А всё-таки, жалко по человечеству!»

И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

Декабрь, 1878.

МОИ ДЕРЕВЬЯ

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение.

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличем, едва ходит... Я поехал к нему.

Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе — а дело было летом — чахлый, скрюченный, с зеленым зонтом над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях...

— Приветствую Вас, — промолвил он могильным голосом, — на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев!

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб.

И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом!»

Но вот ветерок набежал и промчался легким шорохом в сплошной листве исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, — и на похвальбу больного.

Ноябрь, 1882.

ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ¹

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — слишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один

¹ Баронесса Юлия Петровна Вревская (1841—1878) была в числе близких знакомых Тургенева. Она умерла в госпитале в г. Беле (Болгария), куда отправилась в качестве сестры милосердия летом 1877 г.— *Ред.*

врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах—поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два—три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала—и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась—и вся пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады сохранила она там в глубине души, в самом ее тайнике—никто не знал никогда—а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее труп—хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу.

Сентябрь, 1878.

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила в даль дорога.

И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикал, словно и чорт ему не брат! Завоеватель — и полно!

А между тем, высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и

грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удачу, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит мой ястреб...

Мы еще повоюем, чорт возьми!

Ноябрь, 1879.

КОГДА МЕНЯ НЕ БУДЕТ...

Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на мою могилу... Тебе там делать нечего.

Не забывай меня... но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд... Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение. Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало — помнишь? — у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.

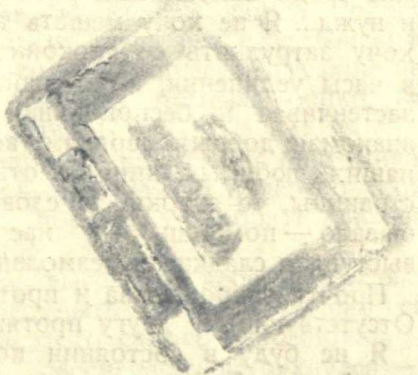
Прочти, закрой глаза и протяни мне руку... Отсутствующему другу протяни руку твою.

Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой: она будет лежать неподвижная под

землю, но мне теперь отрадно думать, что, быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.

И образ мой предстанет тебе, и из под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!

Декабрь 1878.



для СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.

Ответственный редактор *И. Резникова.*

Подписано к печати 9/VII-42 г. 1 печ. л. (0,7 уч.-изд. л.),
43.000 зн. в печ. л. Тираж 50.000 экз.

МЦ 335. Зак. № 7281. Цена 30 к.

Полиграф, г. Горький, ул. Фигнер, 32.

Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

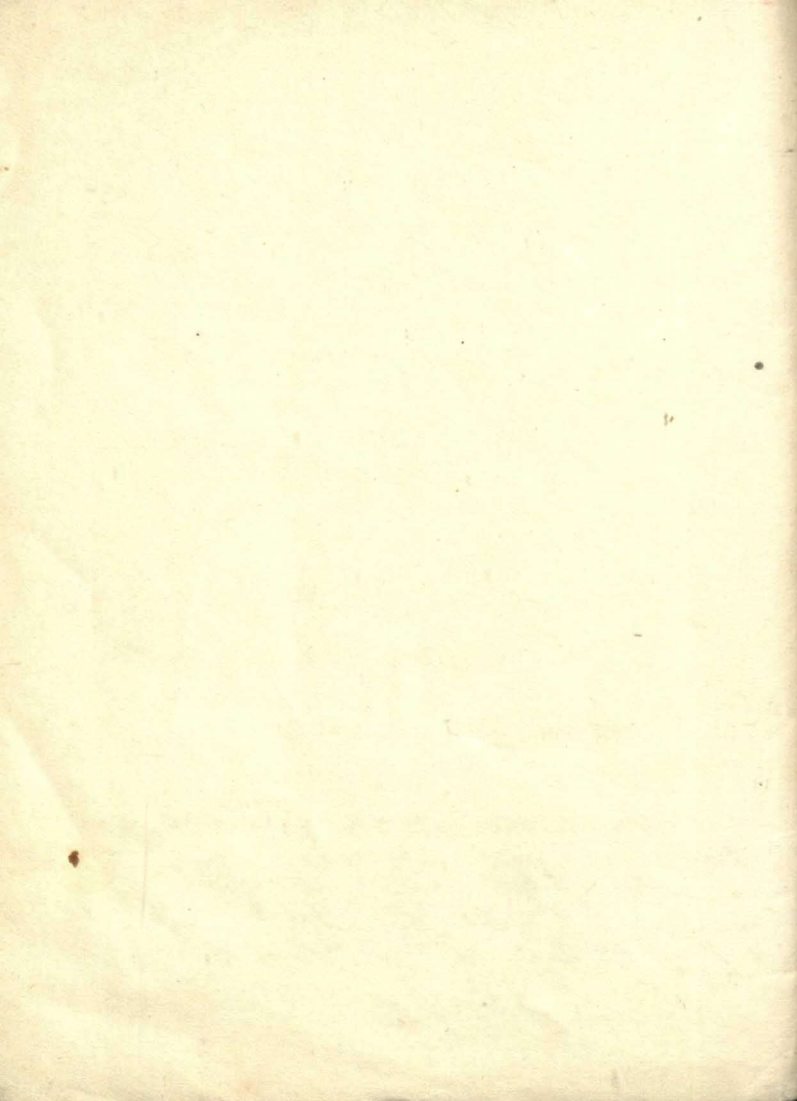
Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

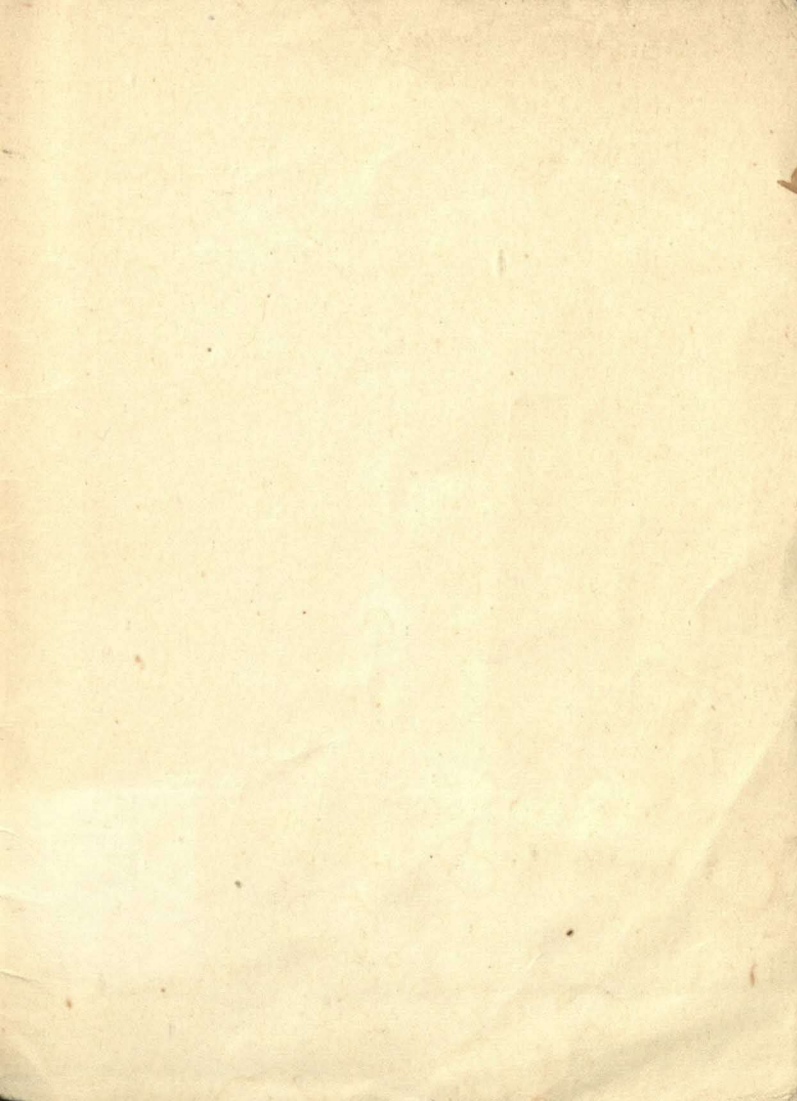
Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году

Всего в 1911 году
всего в 1911 году
всего в 1911 году







30 н.

л